



Электронная библиотека  
Гражданское общество в России

---

**А. И. Фурсов**

Смуты и революции: диалектика  
внутреннего и внешнего. Ч.1.

Электронный ресурс

URL: <http://www.civisbook.ru/files/File/Fursov-1.pdf>

URL: <http://www.civisbook.ru>

# Смуты и революции: диалектика внутреннего и внешнего

Смута *versus* революция, архаика *versus* Модерн

Андрей Фурсов

## Вместо предисловия

**В** Институте социологии РАН 23 октября 2009 г. состоялся круглый стол «Народ и власть в российской смуте»<sup>1</sup>. В нем приняли участие более 30 ученых из России и Белоруссии<sup>2</sup>.

Тема смут как крушений порядка космоса, воцарения хаоса, а затем по прохождении фазы хаосмоса – возникновение нового социального космоса, нового порядка, исключительно важна как в научно-теоретическом, так и в практическом плане.

Мы до сих пор живем в условиях смуты, которая то затихает, то просыпается, смуты, которая совпадает с кризисом

мировой системы, системным кризисом капитализма. О нем очень много и долго писали, предсказывая его приход, и вот теперь он пришел – вполне в духе истории о волке, в которой долго пугали волками, все привыкли, а потому реальное появление волка стало неожиданным.

Можно ожидать, что при выходе из смуты наши «друзья» на Западе попытаются вернуть нас в нее, ведь заявил же Г.Киссинджер, которого до сих пор принимают в Москве: «Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения ее в единое, крепкое и централизованное государство».

---

**ФУРСОВ Андрей Ильич** – директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета; академик Международной академии наук (Инсбрук, Австрия); E-mail: rusint@bk.ru

**Ключевые слова:** смута, революция, русская история, методология, архаика, Модерн.

Осознание социальных крушений, их причин и механизмов – тем более важная вещь и потому, что за одного битого двух небитых дают.

Как заметил в своем докладе П.П.Марченя, «от того, насколько властью и обществом постсоветской России будет осмыслена история крахов и возрождений Державы, во многом зависит не только возможность бытия России как империи, но и глобальное будущее современного мира»<sup>3</sup>.

Действительно, от степени зрелости общества и в еще большей степени власти зависит очень многое. Проблема, однако, в том, что именно в смутное, предреволюционное время власть и господствующие группы поражает социальная слепота.

«Эта парадоксальная слепота власти, – замечает А. И. Колганов, – объясняется вовсе не тем, что проблемы не осознавались. Однако необходимость решения именно этих острейших проблем вошла в прямое столкновение с интересами нового господствующего класса – буржуазии».

Говоря об этой «слепоте власти», «которая в упор не видит насущных проблем»<sup>4</sup>, Колганов имеет в виду характеристику ситуации 1917 г., но она распространяется на все системные кризисы русской, и не только русской, истории, поскольку классовая принадлежность нередко существенно ограничивает адекватность восприятия ситуации.

И – результат: «Если власть не только игнорирует нужды большинства, защищая лишь интересы узкой правящей группы (класса), но при этом еще и не отдает себе отчет в природе конфликта,

в который она вовлекается... это может создать угрозу сохранения власти»<sup>3</sup>.

Слабое понимание собственной природы, собственного народа (общества) и отношений с ним – характерная черта всех исторических систем власти в России. Так было с советским обществом, и Ю.В.Андропов неслучайно обронил фразу о том, что «мы не знаем общества, в котором живем и трудимся».

Сегодня, спустя почти три десятилетия, ситуация ухудшилась: к неосознанности происходящего, когда-то обусловленной ригидностью истмата, с одной стороны, и запретом на иные формы рациональной рефлексии – с другой, добавились мутные потоки третьесортной западной социологии, политологии, экономики и других дисциплин, в которых сегодня ловят рыбку целые исследовательские и учебные заведения «либерального толка».

Когда власть сильна и контролирует ситуацию, непонимание, о котором идет речь, и наличие «структур непонимания» может и не создавать серьезных проблем, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако как только власть слабеет (вторая половина XIX – начало XX в., 80-е годы, да и после тоже), это оборачивается для нее бедой.

Как заметила Ю.А.Жердева, «проблема, с которой столкнулась имперская администрация во второй половине XIX – начале XX в., может быть обозначена как незнание механизмов контроля публичного мнения в условиях нарождавшегося нового городского «информационно-публицистического общества»\*.

Показательно, что Россия, за исключением 30-х – 40-х годов проигрывала и

---

\* В наши дни (декабрь 2011 г., январь-февраль 2012 г.) мы увидели демонстрацию нынешней властью незнания механизмов контроля публичного мнения в условиях информационного общества, где хозяйничают сетевые структуры, причем, как правило, зарубежные.

внешние информационные войны; это касается уже научной рефлексии по поводу внешнего мира.

Если власть не готова смотреться в зеркало прошлого и настоящего, то это должно делать общество, точнее, такой его сегмент, как ученые – обществоведы и историки. Тем более что 2012 г. объявлен у нас годом российской истории – дождались под объявленный конец света. И вполне логично, в духе времени, что обществоведы и историки начали с обсуждения проблем смут и революций. Это архиактуально. Этой теме и была посвящена дискуссия, которая, на мой

взгляд, заслуживает внимания и размышлений. Тем более что ее содержание объективно выходит за рамки смут и революций<sup>5</sup>, а ставит серьезные вопросы о природе русского и советского социумов, о том, что такое русский человек, о методологии изучения нашей истории и ее соотношении с историей мировой наконец.

Выступления в дискуссии можно разделить на две части: концептуальные и посвященные конкретным вопросам. Цель настоящей статьи – осветить теоретико-методологический аспект дискуссии.

## Смута и революция

*«Определяйте значение слов»*

*Р.Декарт*

**П**режде всего участники дискуссии попытались определить, как соотносятся смута и революция. Только для одного из выступавших – В.Д.Соловья – это одно и то же<sup>6</sup>, другие участники дискуссии попытались провести разграничения.

Так, по мнению *И.А.Анфертьева*, революция – это то, что «уничтожает препятствия на пути прогресса», при этом «кардинальным образом меняется социально-политический облик и весь уклад жизни общества», революция «удовлетворяет запросы наиболее значительной части населения»<sup>3</sup>. В отличие от этого, смута не ведет к качественным изменениям, существующий социально-политический строй сохраняется.

С этой точки зрения, по мнению *Анфертьева*, события 1917 и 1991 гг. – это революция, а 1905–1907 гг. – нет<sup>7</sup>. Кроме того, события рубежа 20-х – 30-х годов – это революция (в этом *И. А. Анфертьев* согласен с тезисом *А. И. Колганова* о «второй революции большевиков 1929–1930-х годов»<sup>3</sup>), с помощью которой *Сталин* преодолел смуту<sup>3</sup>.

Смута, считает историк, может предшествовать революции, но революция может произойти и без периода смутного времени.

«Пример – революция августа 1991 г. в России, когда в достаточно мирной обстановке Советский Союз распался, а советская власть и ее стеновой хребет в лице компартии ушли в небытие»<sup>3</sup>.

*И.А.Анфертьев* затронул очень интересную проблему, порождающую следующий вопрос: а не был ли распад СССР и революция августа 1991 г. началом смуты?

Если да, то ошибочно противопоставлять смуту и революцию в долгосрочном контексте, а собственно в таком контексте и должен рассуждать историк, памятуя броделевское «событие – это пыль». Есть сомнение и в степени бескровности распада СССР. В любом случае это вопрос спорный. Спорным также представляется и тезис о том, что существовавшая в СССР власть ушла в небытие. Власть – это ведь не только фасад, это организационные и финансово-информационные структуры. С уче-

том появившейся в последнее десятилетие информацией становится ясно, что во второй половине 80-х годов из СССР выводились огромные средства, которые вкладывались в западную экономику, превращаясь в частные и корпоративные активы, создавалась инфраструктура – все это для сохранения контроля над страной в новых условиях.

Сомневающимся отсылаю к служебной записке В.И.Ивашко М.С.Горбачеву (секретный документ № 15703, август 1990 г.; открыто опубликован в 1992 г.) и ряду аналогичных документов.

Ну а с двумя конкретными тезисами И.А.Анфертьева просто нельзя согласиться, поскольку они не соответствуют действительности.

*Первое.* Ленин с горсткой последователей никак не мог выйти победителем с государственным монстром самодержавия<sup>3</sup>, поскольку к моменту возвращения Ленина в Россию в апреле 1917 г. самодержавие уже рухнуло, оказавшись той самой гнилой стеной из апокрифа о молодом Ульянове.

*Второе.* По поводу августа 1991 г. Анфертьев пишет, что это стало результатом следующего порочного круга: «...чем больше власть подавляла недовольство, а не устраняла причин его возникновения, тем больше это недовольство накапливалось. И рано или поздно этот конфликт между властью и народом должен был разрешиться»<sup>3</sup>. Разрешением стал 1991 г.

У меня вопрос: это где же и как же горбачевская власть образца 1985–1987 гг., и тем более 1988–1991 гг., подавляла недовольство народа? Напротив, это недовольство существующей системой с помощью яковлевских СМИ она всячески стимулировала. 1991 г.

стал результатом совсем иных процессов и механизмов, чем полагает Анфертьев.

Но вернемся к смутореволюциям.

С.Ю.Разин трактует смуту как системный кризис, масштабный настолько, что охватывает физическое и метафизическое пространство социума и соразмерен империи, в которой происходит<sup>3</sup>. В данном случае – Российской.

Вообще, по мнению П.П.Марчени и С.Ю.Разина<sup>8</sup>, подлинное понимание смысла и социокультурного механизма Русской Смуты невозможно вне осмысления феномена империи<sup>9</sup>.

В том, что смута – это системный кризис государственности, согласна и Е.В.Павлова, по мнению которой смута – это, помимо прочего, и кризис представлений о том, какой должна быть власть<sup>3</sup>. Перефразируя М.Булгакова, можно сказать, что смута – это и смута в головах.

«Смутные времена, – пишет С.Ю.Разин, – в российской истории наступают тогда, когда Власть перестает, с точки зрения массового сознания, быть “своей”, перестает соответствовать той цивилизационной задаче, той Миссии, которая на нее возложена. В этом случае народные массы приводят на политический Олимп новую элиту, поведение и идеи которой резонируют с их сознанием»<sup>3</sup>.

В докладе А.И.Колганова представлена следующая диалектика смуты: смута может вылиться в революцию, и тогда смута становится формой революционных событий, но революция не всегда протекает как смута, характерной чертой которой является распад государственности\*.

В.П.Булдаков считает, что «понятие... революции использовалось по преимуществу теоретиками (а также лег-

---

\* Корректнее было бы говорить о распаде государства, т.е. некоего института и явления; государственность – сущность, и как таковая распасться не может. Думаю, что речь у А.И.Колганова идет о распаде именно государства.

ковесными политиками), а образ смуты – писателями, художниками, которые опирались на житейские народные представления и собственную интуицию. Те и другие фактически говорили на разных языках, причем первые грешили схоластичной умозрительностью, вторые – вульгарным эмпиризмом. Между тем логическое отличие смуты от революции может состоять лишь в том, что в ней гипертрофирован эмоциональный момент, а модернизационный компонент, напротив, приглушен либо отсутствует вовсе.

В известном смысле соотношение смуты и революции отражает новые и старые представления об истории, связанные, в свою очередь, с эпохой Просвещения. Сложно говорить о революции применительно, скажем, к дворцовым переворотам, хотя формально революция означает именно переворот. Смута – заведомо архаичное явление, некое коловращение, случающееся по преимуществу в традиционалистской среде; революция, напротив, обязана своим появлением эпохе Модерна. Использование термина «смута» уместно при характеристике бытового восприятия всякой нестабильности – в том числе и революции. К тому же, смута несет на себе отпечаток эмоциональной, преимущественно субъективной оценки события<sup>3</sup>.

Отсюда вопрос: могла ли в России произойти собственно революция, если известно, что численно преобладающая масса непременно повернет процесс вспять?

Для В.П.Булдакова смута – это образ, а не понятие<sup>10</sup>. То, что «это всего лишь образ», утверждает и Б.Ф.Славин<sup>11</sup>, и образ этот представляется ему более емким и более точно соответствующим реалиям системного кризиса в архаичной среде, чем понятие «революция», навеянное отнюдь не бесспорными анало-

гиями с Великой французской революцией.

Вот такой разброс мнений. Начнем с вопроса о соотношении прогресса и революции.

Прав В.Д.Соловей, заметивший, что революция далеко не всегда связана с прогрессом, как это считает И.А.Анфертьев. Кстати, у последнего налицо противоречие: если революция, по его определению должна удовлетворять запросы наиболее значительной части населения, то август 1991 г., вопреки тезису Анфертьева, это никак не революция, поскольку эти события привели к резкому ухудшению жизни огромной части населения, вызвав регресс в экономической, социальной и духовной сферах. При этом августовские события 1991 г. вкуче с обусловленными ими «реформами» Гайдара (по сути – массовой экспроприацией населения) изменили социально-экономический строй, т.е. были революцией. Кроме того, помимо социально-экономических революций бывают революции политические, и события 1905–1907 гг. – это, конечно же, политическая революция, у которой, впрочем, были и социально-экономические «хвосты».

Вообще же, как правило, кратко-, а иногда и среднесрочным результатом революций становится разрушение производительных сил, ухудшение экономического положения значительных по численности слоев, нередко – большинства, т.е. регресс. И это естественно: если революция есть выход из системного кризиса, его преодоление в условиях краха, развала прежней социальной системы, то, во-первых, этот выход всегда осуществляется за счет кого-то; во-вторых, в потоке кризисно-революционного времени люди выбирают из двух зол хаос или новый порядок, отличающийся более жестким социальным контролем от старого порядка, более скудным



«экономическим рационалом» и обладающий своей социальной несправедливостью (например, наполеоновская эпоха и Реставрация во Франции, СССР в 20-е – 30-е годы – особенно в описании Ю.Олеши / А.Белинкова: ситуация превращения тибулов и просперо в новых толстяков).

А вот события конца 20-х – начала 30-х годов – это, действительно (правы И.А.Анфертьев и А.И.Колганов), – революция, причем двойная.

1. Она кардинально изменила социально-экономический строй – отношения собственности, власти и социальной организации для основной массы населения.

2. Принципиально изменила положение России/СССР в международном разделении труда, в мировой системе – Октябрьский переворот 1917 г. и тем более НЭП к такому изменению не привели.

Речь, на мой взгляд, должна в данном случае идти о национальной («национально-имперской») фазе революции (1929–1939 гг.), которая пришла на смену интернациональной фазе (1917–1927 гг. – аккуратно между Октябрьским переворотом 7 ноября 1917 г. и попыткой троцкистского путча 7 ноября 1927 г.), став ее отрицанием. Эта же вторая фаза должна была дать окончатель-

ное решение крестьянского вопроса, который стоял перед русской властью как минимум с середины XIX в., а по сути раньше, и который не был решен самодержавием.

Речь идет об интеграции крестьян в современное (в нашем случае – системно-антикапиталистическое, т.е. социалистическое) общество и установлении социального контроля над ним как над массой населения. В столкновении двух революций в 1917–1922 гг. – «революции комиссаров» и «революции крестьян» (некоторые участники дискуссии говорят об «общинной революции» – кавычки вполне уместны) – крестьяне как минимум не проиграли; партия была отложена, но в 1929 г., возобновившись, завершилась победой «железных коней» – и «железных наркомов».

В известном смысле эта вторая революция завершила, загасила смуту, начавшуюся в широком смысле в 60-е годы XIX в., в узком, если брать только деревню, в 1902 г. И она же стала последним аккордом Гражданской войны в России, окончательно «дисциплинировав» (в фукоистском смысле слова) «охлос», превратив «опасные классы» русского общества в «трудящиеся классы» (на это в свое время в «Книге Второй» обратила внимание Н.Мандельштам).

## К сути дела

**Ц**елый ряд мыслей о смуте и революции высказал В.П.Булдаков, один из лучших знатоков «красной смуты» и автор одной из лучших книг о ней в русской и зарубежной исторической науке И, как это часто бывает у больших ученых, в своих рассуждениях о смуте и революции он вышел за рамки этой тематики и затронул важные методологические проблемы, побуждающие к спору.

Я не могу согласиться с его интерпретацией феномена революции и смуты, с самим подходом к ним. Впрочем, как го-

ворил мой хороший знакомый Ф.Фехер, именно несогласие делает жизнь стоящей штукой.

Прежде всего, отмечу, что Булдаков предлагает две принципиально различные, логически противоречащие друг другу интерпретации разницы между смутой и революцией.

Интерпретация № 1: революция связана с современным обществом, с эпохой Модерна, а смута – архаичное явление, т.е. связано с досовременной, докапиталистической эпохой.

Перед нами различение объективное и содержательное.

Но тут же дается интерпретация № 2. Оказывается, революция – это понятие, которое используется преимущественно теоретиками и политиками, а смута – это образ, используемый главным образом писателями и художниками; соотношение смуты и революции отражают старые и новые представления (выд. – Авт.) об истории, связанные с эпохой Просвещения.

Перед нами различение субъективное и функциональное. Здесь смута и революция не реальности, а образы и представления. При этом если образ «революция» действительно может отражать представления о старом и новом, связанные с эпохой Просвещения, то как это может быть с образом «смута», который появился задолго до эпохи Просвещения? Это – первое. Второе заключается в том, что термин «смута» самым активным образом использовали не только писатели, но и ученые, и, пожалуй, чаще, чем писатели, а термин «революция» активнейшим образом использовался писателями. Попытка противопоставить смуту революции по субъекту пользования ими как терминами представляется несостоятельной и надуманной.

Еще больше запутывают аргументацию Булдакова следующие его три пассажа.

1. «...революция – это просто переворот, а смута – это, прежде всего, отсутствие привычного порядка, создающее впечатление тотального хаоса»<sup>3</sup>.

2. В смутах гипертрофирован эмоциональный момент, а модернизационный приглушен (в революциях по этой логике должно быть наоборот).

Здесь сразу же возникает сомнение по поводу логичности и корректности составления пары противоположностей «эмоциональный – модернизационный».

Должно быть либо «эмоциональный – рациональный», либо «традиционный – модернизационный». Иначе получается, что в движениях, и тем более революциях Модерна, не было эмоций – их совершали биороботы, а смуты творились сверхэмоционалами-психопатами, руководствовавшимися инстинктами. Чтобы убедиться в противоположном, достаточно почитать психологов XX в. о революциях этого столетия и что угодно по истории русской смуты начала XVII в.

3. В российских смутах результат противоположен задуманному, это насмешка над революционным процессом.

Во-первых, революцию «просто переворотом» считали с 1688 г. (со «Славной революции», породившей этот термин как политический) до 1789 г., когда речь пошла уже о кардинальном системном изменении, а не просто перевороте. Если революция – это «просто переворот», то зачем вообще существует и зачем нужен этот термин? Обойдемся переворотом.

Во-вторых, если смута – это отсутствие привычного порядка и в таком качестве противопоставляется революции, то значит ли это, что революция как «просто переворот» не предполагает изменения или уничтожения существующего порядка (что, безусловно, выглядит как хаос; история всех революций демонстрирует это со стеклянной ясностью)? То есть на самом деле в этом плане различий между смутой и революцией нет.

В-третьих, нет в реальности различия между смутой и революцией по степени эмоционального накала участников. Разве что если кто-то изобрел эцимер и исследовал смуты и революции.

В-четвертых, и это уже логика, если в смутах столь силен эмоциональный момент, то как же можно утверждать, что в российских смутах результаты про-



тивоположны задуманным? Откуда берется задуманное, если гипертрофирован эмоциональный момент, а модернизационный, т.е. направленный на сознательную модернизацию «приглушен, либо отсутствует вовсе»? В соответствии с данным Булдаковым определением смуты у нее в принципе не может быть *контрпродуктивного* результата; таковой возможен только у революции или, что еще более вероятно, у реформы, но никак не у смуты.

Здесь, прежде чем двигаться дальше в анализе дискуссии, я должен предложить собственную трактовку смуты, революции и их соотношения.

В качестве метафоры образ «смута» может применяться далеко за пределами русской истории – как некое «*time of trouble*» в США 70-х годов, в Китае XVII в. или в Древнем Египте эпохи переходных периодов.

В научном плане, т.е. в качестве понятия «смута» есть термин, отражающий совершенно определенную русскую ситуацию. Суть в следующем. Русская власть носит автосубъектный характер по сути, а функционально стремится к моносубъектности, т.е. к недопущению появления иных властных субъектов. Властный субъект может быть только один-единственный. Появление второго (третьего, четвертого и т.д.) разрушает эту власть и строй, системообразующим элементом которого она является.

## Смута *versus* революция, архаика *versus* Модерн

**А** что такое революция? Революция есть характерный для капиталистического социума или социума, который включен в капиталистическую систему, где капиталистический уклад является ведущим, хотя может и не быть доминирующим, способ разрешения кризисных ситуаций, кардинально меняющий социально-экономический и(или) политический строй (в соответ-

Смута – это ситуация раздвоения (как минимум) субъекта власти, ввергающая систему в кризис, поскольку в данной системе единственность властного субъекта есть показатель нормы и социального здоровья, *conditio sine qua non* существования системы. Раздвоение – это Шуйский против Лжедмитрия II, Временное правительство против Петросовета, красные против белых, Ельцин против Горбачева, а затем – Верховного Совета.

В буржуазном обществе наличие иных властных (политических) субъектов, чем центральная власть (государство – *lo stato/state*), не ведет к кризису: полисубъектность власти, политическая полисубъектность – норма западного общества эпохи капитализма (XIX – начало XXI в.) и даже Старого порядка (XVII–XVIII вв.). Причем эта полисубъектность зафиксирована институционально и ценностно.

В России ситуация принципиально иная, а потому все макромасштабные потрясения оборачиваются смутами. Сложность русской истории XX в. в том, что здесь смуты в той или иной степени являются и революциями, будь то 1905–1907, 1917–1922/1927, 1929–1933/1939 или 1991 гг. (хотя в последнем случае зазор между смутой и революцией исключительно мал, причем в значительной степени благодаря международным факторам).

стви с тем или иным политико-идеологическим проектом – либеральным, марксистским/социалистическим/коммунистическим или консервативным) и положение данного социума в международном разделении труда.

Помимо обычно верно фиксируемого качественного сдвига в отношениях власти и собственности я особо подчеркиваю такую имманентную, сущност-

ную характеристику революций, как их проектно-конструкторский исторический характер (субъективный фактор – не путать с субъективным), накладывающийся на системную ситуацию (не путать с объективным фактором); другое дело – как реализуется проектно-конструкторский замысел, как он вступает в противоречие с системной реальностью.

Проектно-конструкторский характер революций проявляется в наличии организации, финансовой базы, манипуляции информпотоками, а также в наличии внешних союзников (в XX в. без таковых не обходилась ни одна революция, что еще более усиливает ее проектно-конструкторский характер).

Нужно вообще отметить, что в середине XVIII в. произошел «великий эволюционный перелом» (термин А.А.Зиновьева, придуманный им по иному, чем события XVIII в., поводу, но вполне уместный в данном контексте): **история из преимущественно стихийной стала превращаться в преимущественно проектную, конструируемую, и средством конструирования стали в том числе революции, которые, естественно, невозможно создать, но можно использовать, направить и превратить в революцию антисистемное движение.**

В результате творчество масс, превращаясь в революцию, может менять конструкторско-проектный замысел или вообще выходить из-под его контроля; Гегель назвал бы это «коварством истории». С середины XIX в. проектное конструирование истории приобретает международный характер – как «слева», так и «справа»; впрочем, несколько перефразируя Гермеса Трисмегиста, можно сказать: что слева, то и справа – диалектика.

В России проблема соотношения «стихийно-антисистемного – проектно-конструкторского» – это, с некоторым

упрощением, проблема смуты и революции. А еще точнее – проблема революции, победившей смуту и на костях последней (в переносном и прямом смысле слова), а также на костях первой, интернациональной, фазы революции построившей советский (сталинский) Модерн. Модерн квазимперский по форме, антикапиталистический по содержанию и не имеющий серьезного отношения к архаике, за которую нередко принимают форму, предварительно сведя к смуте всю сложность смутореволюционного процесса и усматривая в русской революции только смутное, архаическое. Такой угол зрения приводит к ошибочному анализу не только революции, но и советского общества.

Трактуя события в России начала XX в. как смуту, т.е. процесс самоорганизации хаоса, Булдаков логично (в рамках своей сетки координат) ставит вопрос: «И во что может в России вылиться революция (особенно социалистическая) кроме архаизации (в форме внешнего обновления) прежних структур и иерархий?»<sup>3</sup> И хотя здесь стоит знак вопроса, ответ автора очевиден. Отсюда логично вытекают еще вопросы (по сути – утверждение): «Возможна ли вообще революция в России? Может системный кризис архаичной структуры в инновационном отношении быть бесплоден по определению? Если русская смута – это преимущественно эмоции, то что она может дать кроме удовлетворения прихотей, задавленных в застойной жизни?»<sup>3</sup>

Таким образом, Булдаков полностью укладывает революцию в смуту, практически растворяет ее в ней, по сути, отрицая саму возможность революции в России и трактуя события начала XX в. как смуту, а советское общество как подновленную архаику – прежние структуры и иерархии в обновленной форме.

В этих выводах автор «Красной смуты» в соответствии с принципами свое-

го подхода рассуждает абсолютно логично и последовательно. И, по моему мнению, абсолютно ошибочно как с точки зрения теории, так и с точки зрения истории, реальной практики русской и особенно советской истории XX в.

Во-первых, как было показано выше, выводы Булдакова по поводу российских потрясений начала XX в. базируются на принципиальном методологическом неразличении смуты и революции – декларировать отличие смуты от революции не значит обосновать и доказать его.

Во-вторых, хотя русские революции XX в. были и смутами, хотя количественно «смутный» аспект внешне преобладал, внешне создавал картину разгула архаики, *качественно* (напомню мысль Эйнштейна о том, что «мир – понятие не количественное, а качественное»), определяющую роль в характере и развитии русских событий рубежа 1910-х – 1920-х годов играл революционный, т.е. современный, модерновый элемент, связанный с системным отрицанием как капитализма, так и традиционной русской архаики. И то, что в конечном счете этот элемент железным обручем современной организации сдавил и укротил смуту и архаику, используя ее энергию в «антиархаических целях». В данном случае не то важно, что *крестьянин* выбрал большевиков, т.е. левый Модерн, а то, что он *выбрал* то, что ему *предложили*. Предлагавший субъект ставил, решал (и решил) задачи вовсе не архаические и даже не страновые, национального уровня, а более масштабные.

Не буду спорить о том, была ли колхозная деревня обновленной формой до-революционной архаики, думаю, нет. Но то, что город уже в 30-е и тем более в 50-е годы, когда в жизнь вошло поколение *советских* людей, к тому же переживших абсолютно модерновую войну – Вторую мировую, не был архаикой в обновленной форме, это очевидный факт.

Именно промышленно-городской уклад был ведущим в советском обществе, придавая ему особые характеристики. По принципу конструкции это было так уже в 20-е годы, и проникательные люди хорошо это понимали, а если не понимали, то чувствовали:

*Милый, милый, смешной дуралей,  
Ну куда он, куда он гонится?  
Неужель он не знает,*

*что живых коней  
Победила стальная конница?*

*С.Есенин*

Показательно, что по логике своего подхода Булдаков говорит о «коммунистической автаркии», освобождение от которой, по его мнению, якобы пришло с распадом СССР<sup>3</sup>. Это когда же у СССР была автаркия по отношению к мировому рынку?

Даже в 30-е – 50-е годы отношение СССР к мировому рынку нельзя назвать автаркией, ну а в период с конца 50-х годов интеграция СССР в мировой рынок (экспорт нефти, газа, оружия и много чего другого и импорт тоже много чего) шла по нарастающей. Причем до такой степени, что интеграция в мировой сырьевой рынок сделала СССР уязвимым в середине 80-х годов, а позиции на мировом рынке в целом были таковы, что та же Тэтчер осенью 1991 г. признала, что опасалась СССР как экономического агента мирового рынка в первую очередь, а как военную угрозу – только во вторую.

Это какую же автаркию преодолели с крушением коммунизма, если в 1980 г. обеспечивавший 10% мировой добычи нефти и газа советский топливно-энергетический комплекс снабжал сырьем всю Европу – социалистическую и капиталистическую? И хотя доля сложной техники в экспорте падала (с 20,7% в 1960 г. до 12,5% в 1985 г.), экспортировали и ее. Про экспорт оружия я не гово-

ру. И это автаркия «обновленной архаики»?

Вообще нужно сказать, что тенденция к отождествлению советского типа общества с архаикой, с тем или иным «докапитализмом» в традиционной («азиатский» способ производства, феодализм) или обновленной (нео-) форме в свое время была распространена, особенно среди бывших левых – К. Виттфогель, Р. Гароди и др. У нас активно «архаизирует» советское общество С. Г. Кара-Мурза. Он объясняет кризис СССР 80-х годов тем, что советское общество, традиционное, крестьянское по своему социальному архетипу, оказалось несовместимо с урбанизацией.

По-видимому, делая такой вывод, певец советской цивилизации не отдает себе отчет в том, что играет на руку своим оппонентам, работает на них, рисуя советское общество в качестве принципиально несовместимого с городским, т.е. современным образом жизни, ограничивая его исторические сроки и бытие аграрной фазой истории и таким образом фиксируя неспособность к развитию. Но мы-то знаем, что это не так, что советское общество 30-х – 70-х годов было городским и *развивалось именно как промышленно-городское общество*. Если СССР был обречен самим фактом «аграрного потолка», то зачем, как это делает С. Г. Кара-Мурза, придумывать «антисоветский проект» части советской интеллигенции, который якобы погубил СССР? Налицо противоречие, если не сказать когнитивный диссонанс.

На самом деле причины крушения советского социума как промышленно-городского системно-антикапиталистического общества кроются не в хозяйственной, а в социально-экономической сфере, в базовых противоречиях строя и его системообразующего элемента – номенклатуры, в противоречиях присвоения нематериальных и материаль-

ных факторов производства; снятие этих противоречий на пути интеграции части номенклатуры в мировой рынок и стало причиной крушения системного капитализма и СССР. Поэтому не надо наводить тень на плетень и, акцентируя роль якобы архаики, уводить от реальных факторов и особенностей развития общества.

Кстати, показательно, что С. Г. Кара-Мурза и тот же В. П. Булдаков, говоря о советском обществе, не ставят вопрос ни о господствующих группах с их интересами, ни об объектах присвоения этих групп, ни о формах эксплуатации населения, подменяя все это туманными рассуждениями об архаике и Модерне, об эмоциях и удовлетворении прихотей.

Отсутствие теории советского общества, анализирующего его реальные противоречия и адекватно отражающей его собственную природу, логически ведет либо к дешевым генерализациям в духе «компрадорской политологии», либо к интерпретациям, архаизирующим советскую и революционную реальность или, что еще хуже, субъективизирующим и психологизирующим ее. Эти последние суть реакция как на западные схемы, так и на схемы типа «развитого социализма», являются их изнанкой, но ведь изнанка, как правило, хуже лицевой стороны, какой бы она ни была.

От такой «изнанки» остается всего лишь шаг до перевода научного исследования в область тотальной интуиции и озаряющего чувствования. И неудивительно, что именно в таком духе Булдаков завершает свое выступление: «...противостояние понятий смуты и революции имеет глубокую культурно-историческую природу. Из этого следует только одно: исследователь должен мысленно корректировать привычные термины соответственно их историческому

наполнению. Продуктивно рассуждать о российской истории можно, только почувствовав ее культурно-антропологическую «боль», то есть через постижение смут «изнутри». В этом смысле социологические абстракции и тем более политологические генерализации не только бесполезны, но и опасны»<sup>3</sup>.

С тезисом о постижении русской истории изнутри как условия ее понимания перекликается тезис С.Ю.Разина о том, что «понять российские смуты и революции можно только исходя из нашей собственной истории и культуры. Обретение "почвенного", изоморфного понимания российских смут и революций крайне важно для нашего общества»<sup>3</sup>. Впрочем, про «боль» и чувства здесь ничего нет.

Спору нет, надо понимать свою историю из нее самой: – метод и теории русской истории должны выводиться из нее, соответствовать ее природе, а не навязываться извне в виде идеологем, отражающих чужие и чуждые ценности; схем, отражающих чужие и чуждые интересы, и теорий, отражающих чужие и чуждые опыт и практику. Об этом я писал неоднократно.

В то же время вызывает большое сомнение тезис, согласно которому только прочувствовав культурно-антропологическую боль России, можно понять ее и ее смуты; только чувство приведет нас к пониманию, а не абстракции и теории – эти генерализации бесполезны и опасны.

Так и хочется сказать: чур меня, чур.

Или повторить за М.Горьким: «Он пугает, а мне не страшно» (о Л.Андрееве. – Авт.).

О том, что «умом Россию не понять» (умом – т.е. теориями), мы уже слышали. От Ф. Тютчева. Но одной веры и чувств мало, и именно недостаток ума (хорошей теории, по поводу которой А. Эйнштейн говаривал, что нет ничего практичнее) и избыток чувств, т.е. некоторая чувствен-

ная ацефалия, является одной из причин исторических поражений России.

Еще одна причина – следование тупым западным экономическим, социологическим и политологическим теориям.

Так кто же заставляет им следовать?

И кто заставляет формулировать ложную и не самую умную дилемму: либо чувствовать Россию, либо пользоваться плохими теориями; и то и другое бесполезно и опасно.

Нужно разрабатывать теории, адекватные объекту; «Пора, пора, е... мать, умом Россию понимать» – эти строки (ответ Тютчеву) представляются мне весьма актуальными.

Можно многое почувствовать, но сформулировать почувствованное можно только на языке теории: спор номиналистов и реалистов состоялся в XIV в. и завершился победой первых, о чем, по видимому, не всем еще сообщили.

Можно создавать сколько угодно верные образы, но без и вне теории все это будет роман, а не наука: научный факт есть эмпирический факт, включенный в рамки той или иной теории; вне теории есть только эмпирические наблюдения, за которыми скрывается... плохая теория.

И еще один аспект призывов понимать русскую (китайскую, немецкую, английскую и т.д.) историю, русскую смуту/революцию изнутри, из нее самой, которые я поддерживаю полностью. С одной оговоркой: это необходимое, но недостаточное условие понимания. Как заметил в свое время Б.Ф.Поршнева, изучать историю одной страны невозможно. Даже если это такая огромная страна, страна-мир, как Россия.

Русские смуты и революции невозможно полностью понять вне европейского (евразийского) и мирового системно-исторического контекста.

Так, русская смута начала XVII в. была русским элементом кризиса XVII в. – европейского и мирового.

Русскую революцию 1917 г. можно адекватно понять только в контексте мировой революционной волны первой четверти XX в., борьбы государств и наднациональных сил. В этой волне было нечто (и это нечто было весьма важным), что характеризовало не столько Россию, сколько мировые тренды. Без этого «нечто» русская революция была бы не революцией, а новой пугачевщиной или в лучшем случае новой русской смутой, результатом которой скорее всего стали бы сермяжная архаика и полуколониальный статус, а не сталинский Модерн, победа в войне, атомная бомба, покорение космоса и статус сверхдержавы.

Во времена горбачевщины и ельцинщины (1985–1996 гг.) – «русская» капиталистическая революция – была элементом неолиберальной революции и глобализации 80-х – 90-х годов, классового союза части советской номенклатуры и западного капитала. Вне того мирового поворота, который произошел на рубеже 70–80-х годов (поворот, наложившийся на структурный кризис советского общества и его верхов и позволивший некоторым выйти из кризиса, превратившись в капиталистов и разрушив СССР), мы не поймем сути «революции 1991 г.» – сколько не подвергай себя культурно-антропологической боли. Впрочем, все же лучше без мазохизма.

В сухом остатке мы имеем: преодоление русской архаики и ментальной анархии требует серьезной работы в области теории – теории русской истории и теории мировой и евразийской систем, элементом которых была и остается Россия и на стыке которых возникали такие явления, как русские революции XX в., советский коммунизм и уродец-социум на территории бывшей РСФСР.

Понятно, что в условиях провинциализации научной мысли в современной России, оборачивающейся детеретизацией знания и заглатьванием чужого интеллектуального мусора, особенно в сферах политологии и социологии, это трудно сделать.

Но другого пути нет.

## Примечания

- <sup>1</sup> Булдаков В.П., Марченя П. ., Разин С.Ю. Народ и власть в российской смуте: прошлое и настоящее системных кризисов в России // Вестник архивиста. 2010. № 3. С. 288–302.
- <sup>2</sup> Марченя П.П., Разин С.Ю. Народ и власть в русской смуте: «Вилы» и «грабли» отечественной истории // Обозреватель–Observer. 2010. № 7. С. 96–103.
- <sup>3</sup> Народ и власть в российской смуте: сб. науч. статей / под ред. П.П.Марчени и С.Ю.Разина. М.: ВВА им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, 2010. С. 206, 159–160, 112, 39, 164, 47, 40, 46, 233, 220, 235, 158, 81, 82, 83, 88, 90, 237 // URL: <http://www.isras.ru/publ.html?id=1930>
- <sup>4</sup> Булдаков В.П., Марченя П.П., Разин С.Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте». 3-я часть // Власть. 2010. № 6. С. 13.
- <sup>5</sup> Марченя П.П., Разин С.Ю. «Смутоведение» как «гордиев узел» россиеведения: от империи к смуте, от смуты к ..? // Россия и современный мир. 2010. № 4. С. 48–65.
- <sup>6</sup> Булдаков В.П., Марченя П.П., Разин С.Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте». 1-я часть // Власть. 2010. № 4. С. 16–17.
- <sup>7</sup> Булдаков В.П., Марченя П.П., Разин С.Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте». 5-я часть // Власть. 2010. № 8. С. 12.



- <sup>8</sup> Булдаков В.П., Марченя П.П., Разин С.Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте». 4-я часть // Власть. 2010. № 7. С. 9–11, 11–12.
- <sup>9</sup> Марченя П.П., Разин С.Ю. Империя и Смута – инварианты российской истории // Федерализм. 2010. № 3. С. 121–134.
- <sup>10</sup> Булдаков В.П., Марченя П.П., Разин С.Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте». 6-я часть // Власть. 2010. № 9. С. 20.
- <sup>11</sup> Булдаков В.П., Марченя П.П., Разин С.Ю. Международный круглый стол «Народ и власть в российской смуте». 2-я часть // Власть. 2010. № 5. С. 13.

### **Требования к материалам, представляемым для публикации в журнале “Обозреватель–Observer” в соответствии с указаниями ВАК**

В редакцию журнала направляется статья с сопроводительным письмом по электронной почте: E-mail: [observer@ru.ru](mailto:observer@ru.ru) или предоставляется на дискете в программе Word (с расширением **DOC** или **RTF**) вместе с распечаткой: текст дается кг. 14 через 1,5 интервала.

Текст статьи должен быть **структурирован**.

Общий объем материала не должен превышать 18–20 тыс. знаков с пробелами.

Ссылки на источники должны даваться арабскими цифрами только на цитаты и данные, подкрепляющие информацию, и быть привязаны к тексту с указанием выходных данных, источников и страниц.

Если цитируются иностранные источники, то все данные указываются на языке оригинала.

**К статье необходимо дать аннотацию (не более 500 знаков), отражающую основные идеи материала, ключевые слова и краткие сведения об авторе (фамилию, имя и отчество полностью, ученую степень, другие звания, место работы, должность и контактные телефоны) на русском и английском языках.** (Английская версия размещается на сайте журнала).

**Рисунки, графики, схемы даются в программах JPG или EPS.**

**Статья и все необходимые данные должны присылаться в одном файле.**

В качестве сопроводительных документов автор прилагает выписку из решения кафедры (научного подразделения), где выполнялась работа, содержащую рекомендацию статьи к публикации в журнале. Выписка подписывается заведующим кафедрой (руководителем научного подразделения) или его заместителем, подпись заверяется соответствующей кадровой структурой.

Кроме того, автор представляет оформленный и заверенный соответствующей кадровой структурой отзыв специалиста доктора наук, содержащий рекомендацию статьи к публикации в журнале.

Оригиналы этих документов в случае принятия статьи к публикации должны быть представлены в редакцию.

Контактная информация автора может быть сообщена редакцией только с его согласия.

Требования к материалам опубликованы на сайте:

**<http://www.rau.su>**